

---

---

# ФИЛОСОФИЯ ЗА РУБЕЖОМ

А. МЕГИЛЛ\*

## ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ: ЗА И ПРОТИВ

Многие люди вполне естественно считают, что история должна быть формой памяти. Они предполагают, что центральная задача историописания – возможно, даже единственная задача – состоит в том, чтобы сохранить и восполнить память. У этого предположения есть древний прецедент. В первых строках своей «Истории» Геродот сообщает, что он написал свою работу так, «дабы ни события с течением времени между людьми не истребились, ни великие и

---

\* Аллан Мегилл – профессор истории университета Вирджинии (США). Специалист в области истории идей и исторической теории. Окончил университет Торонто и Колумбийский университет. Автор известных работ «Пророки постмодерна: Ницше, Хайдеггер, Фуко и Деррида» (1985); «Карл Маркс: бремя разума» (2002), а также ряда работ по теории истории. Член редколлегии «Journal of the History of Ideas», один из авторов и редактор (совместно с Д. Келли и М. Горовиц) «Dictionary of the History of Ideas» (1973–1974). Его книга «Историческая эпистемология» готовится к выходу в России в 2005 году. Одновременно она будет издана в Китае издательством Пекинского университета. Английский вариант монографии выйдет в США позже. Примечательно, что автор предложил свою рукопись к изданию именно в этих «постмарксистских», как он подчеркивает, странах. По его мнению, интерес к истории, к историческому мышлению и особенно к теории истории одинаково велик как в России, так и в Китае, что во многом объясняется долгим господством известной философско-исторической традиции, приведшей к трудновосполнимым лакунам в историческом знании.

Вниманию читателей предложена первая часть первого раздела книги, озаглавленного «Память». В ней автор обсуждает традиционные в этом контексте проблемы взаимоотношения истории и памяти. Взгляд на них европейской историографии XX века известен российскому читателю. Достаточно указать на две «хрестоматийные» в этом отношении книги, вышедшие в России с интервалом в три года – «Франция-память» П. Нора, М. Озуф и др. (СПб., 1999) и «История как искусство памяти» П. Хаттона (СПб., 2003). Работа А. Мегилла, в которой автор попытался суммировать существующие взгляды на соотношение истории и памяти и свести их к четырем возможным схемам, представляет собой своего рода образец специфической американской рефлексии исторической теории. Работа изобилует примерами и аргументами, почерпнутыми из реалий современной американской и отчасти европейской истории, что придает ей особый колорит и информативность; предлагает концепции и выводы, которые, вполне вероятно, будут звучать для отечественного читателя неожиданно прагматично.

Написанная профессиональным языком научного исследования работа американского философа истории несомненно вызовет большой интерес.

*М. А. Кукарцева, переводчик.*

дивные дела, эллинами и варварами совершенные, не остались бесславными»<sup>1</sup>.

Предположение, что история приравнивается к памяти, сохраняется и сегодня, причем варианты его различные и противоречивые. Рассмотрим два примера, сходные с Геродотовым в том, что оба относятся к памяти о войне. В 1994–1995 гг. обнаружилось противоречие во взглядах по поводу выставки, предложенной Смитсоновским институтом в память о пятидесятилетней годовщине сброса атомной бомбы на Японию. Выставка, открытие которой было намечено на май 1995, была отменена, потому что группы ветеранов, полит- и культуркомментаторы, политические деятели выразили протест против той интерпретации войны и ее окончания, которую предлагала эта выставка. Теоретические вопросы этой проблемы таковы: чья память должна была быть оценена на этой выставке? и, более конкретно, должна ли память уступить место более поздним конструкциям историков и музейных работников?<sup>2</sup> Мощные силы культуры выступили против этого. Требование «правильной» памяти является следствием вьетнамской войны, в начале 1980-х оно привело к конфликтам вокруг Национального мемориала вьетнамских ветеранов. В свое время проект, предложенный Мейя Лин для этого мемориала, не сумел удовлетворить сентиментальность многих ветеранов и их организаций, некоторые из них осудили его как «черное несмываемое пятно позора»<sup>3</sup>. Такие же жалобы и требования возникли и, без сомнения, будут еще возникать в результате нападения на Центр международной торговли и последовавшей затем «войны против терроризма». Вопрос, который часто задают

<sup>1</sup> Herodotus. *The History* / trans. David Grene. Chicago, 1987. 1.1. P. 33 (русск. изд.: Геродот. *История* // *Историки Греции*. М., 1976. С. 27.

<sup>2</sup> Противоречие, возникшее из одного центрального исторического вопроса: было ли оправданно решение президента Трумэна применить атомные бомбы против Японии? – было рассмотрено множеством авторов в *Журнале Американской Истории* 82 (1995): 1029–1144 (См. особенно: Kohn, Richard H. *History and the Culture Wars: The Case of the Smithsonian Institution's Enola Gay Exhibition*, 1026–1063; См.: [www.afa.org/media/enolagay](http://www.afa.org/media/enolagay)). Однако это противоречие не было просто недоразумением между просвещенными профессионалами и стихийным выступлением «публики». Недавнее обсуждение этого случая дает основание полагать, что работники национального аэро- и космического музея, планировавшие выставку, особенно его директор Мартин Харвит, были заняты слишком тенденциозным прочтением и отбором исторического материала. See Newman, Robert P. *Enola Gay and the Court of History*. New York, 2004. См.: <http://hnn.us/articles/6597.html>

<sup>3</sup> Scruggs, Jan C. and Swerdlow, Joel L. *To Heal a Nation: The Vietnam Veterans Memorial*. New York, 1985. P. 80–84.

сегодня, – кто имеет историю?<sup>4</sup> Это поразительно неадекватный вопрос. Во многих случаях вопрос должен быть понят так: кто имеет право контролировать то, что «мы» помним о прошлом? Или, говоря другими словами, *чья* «политические, социальные и культурные императивы» будут доминировать в любой момент репрезентации прошлого?<sup>5</sup> Требование помнить прошлое *правильным способом* весьма настойчиво, и историки, надо полагать, будут здесь выполнять свою часть работы в угоду тем, кто им платит, и тем, кто чувствует, что их собственные политические, социальные и культурные «императивы» должны быть защищены. Чтобы переместить фокус рассмотрения проблемы с прошлого, которое предположительно неправильно запомнили, к прошлому, возможно, забытому, иногда говорят, что немцы в первом или втором поколении после Второй мировой войны, а японцы даже сегодня подавляют и продолжают вытеснять память о тех злодеяниях, которые их нации осуществляли в ходе той войны<sup>6</sup>. Можно просто сказать, что то, в чем нуждались немцы и в чем все еще нуждаются японцы, было и есть память – чем больше, тем лучше. Историкам иногда предлагают заняться решением задачи восполнения «дефицита памяти», который чувствуется в таких ситуациях. Понятая таким образом, история тогда была бы, прежде всего, ремеморацией, продолжением воспоминаний, которые, по той или иной причине, были отвергнуты.

\*\*\*

Существует некая противоположность этим тезисам, которая ближе к истине: например, далекая от того, чтобы быть ремеморацией, настоящая история стоит к ней почти в оппозиции. Другими словами, ошибочно полагать, как делают многие люди в наши дни, что центральная функция истории состоит в сохранении и восполнении памяти. Безусловно, история и память были связаны в течение долгого времени, что мы и находим у Геродота. Но память в трактовке Геродота – не то же самое, что память в совре-

---

<sup>4</sup> E. g., Foner, Eric. Who Owns History? Rethinking the Past in a Changing World. New York, 2002; Graham, Otis. Editor's Corner: Who Owns American History? // *Public Historian* 17 (1995): 8–11; and Winkler, Karen J. Who Owns History? // *Chronicle of Higher Education*. Jan. 20, 1995: 10–11. Many other citations could be added.

<sup>5</sup> Foner. *Who Owns History?* XVII.

<sup>6</sup> Paris, Erna. *Long Shadows: Truth, Lies and History*. New York, 2001.

менном понимании. И у Геродота, и у историков, работавших в его стиле в более поздние времена, «память», с которой они имели дело, есть цепочка «воспоминаний» людей о делах, осуществленных в прошлом. Эти «воспоминания» должны быть получены путем штудирования работ историков, в своих исследованиях предлагающих понимание того, какими были те или иные вещи. Но в современном прочтении новый вид исторической памяти драматично вовлечен в иную игру. (Кто-то мог бы называть это «постмодернистской» памятью, хотя термин «постмодернистский» из-за его неопределенности, разносторонности и запутанности в полемических спорах должен употребляться с предосторожностями.) В новом мышлении память рассматривается как объект, имеющий самостоятельную ценность, а не только как способ получения или хранения большего, чем прежде, объема знания о прошлом.

Новое, оценивающее, понимание памяти близко к тому, что мы находим у Геродота, а именно к тенденции быть очарованным рассказами, восполняющими смысл истории, которые поведали ему его собеседники, принадлежащие к различным культурам. Геродот любил повторять эти рассказы. Он находил их интересными самих по себе и также потому, что они проливали свет на то, как люди, рассказывающие их, видели мир и как они вели себя в нем. Но Геродоту была неинтересна память *как таковая*. Он хотел сообщить нам об «удивительных делах», предпринятых греками и персами в ходе их конфликта. Он был заинтересован непосредственно самими делами, а не способами их запоминания. Во-вторых, как он говорит уже в начале своей «Истории», он хотел показать «причину, по которой они воевали друг с другом». Короче говоря, фокус его внимания находился в самой реальности совершающихся дел и в действительных предпосылках той войны, которая в дальнейшем и дала название этим делам.

Озабоченность проблемой памяти как объектом ценности, а на самом деле как объектом почитания, появилась в недавнем прошлом как ответ на события, которые мы теперь называем Холокостом или Шоах. Озабоченность памятью возникла в этом контексте вслед за пониманием того, что в недалеком будущем все выжившие в Холокосте будут мертвы, и это понимание стало особенно отчетливым в 1970-х. В таком случае, если воспоминания о перенесенных мучениях жертв преследования машиной Холокоста должны

быть сохранены, то они должны быть сохранены как можно быстрее. Аудиоархив (позже видео-) был основан для этой цели Йад Вашем (Yad Vashem. – *Пер.*) в Израиле, Йельским университетом, и (весьма впечатляюще, хотя и запоздало) кинорежиссером Стивеном Спилбергом<sup>7</sup>. Коллекция доказательств «свидетелей» и «оставшихся в живых» далеко выходит за рамки того, что необходимо историкам для реконструкции событий прошлого. Но дело не просто в том, что существует такое множество доказательств (только в архиве Спилберга больше чем 50 000), что каждое дополнительное доказательство вряд ли внесет что-нибудь новое в историческое понимание. В конце концов, всегда есть шанс, что, сверх всяких ожиданий, очередная часть свидетельства может обеспечить удивительное понимание того, что именно произошло. Проблема не в том, что доказательство дает далекое от адекватного понимание того, что случилось. Рассматриваемые события были глубоко травматичными и часто запоминались в обстоятельствах, где осторожное наблюдение было невозможно. Кроме того, многие из доказательств были собраны спустя десятилетия после описываемых событий. Таким образом, было достаточно времени, чтобы воспоминания исчезли или трансформировались в ходе их переосмысления и пересказа. Хорошо известно, что даже с доказательствами, собранными сразу же после событий, нужно обращаться с большими предосторожностями<sup>8</sup>. А уж когда после событий проходит какое-то время, то ситуация только усугубляется. Люди бывают не способны увидеть разницу между тем, что они действительно видели, и тем, что они только слышали. Они также уверены в том, что то, что они думают, и есть информация, почерпнутая из их воспоминаний, просто она стала доступной им позже. Возьмем пример того, как свидетельство оставшегося в живых узника концлагеря, представленное в 1986 г. в Израиле на суде над бывшим охранником концентрационного лагеря Иваном Демьянюком, оказалось некорректным по многим пунктам. Почти точно можно сказать, что Демьянюк не был, как утверждалось судебным обвинением, жесто-

---

<sup>7</sup> Информацию об этом можно получить: [www.yadvashem.org.il/about\\_yad/index\\_about\\_yad.html](http://www.yadvashem.org.il/about_yad/index_about_yad.html); [www.library.vale.edu/testimonies](http://www.library.vale.edu/testimonies); [www.vhf.org/organization.htm](http://www.vhf.org/organization.htm)

<sup>8</sup> А. Джонсон суммировал классические случаи недостоверности свидетельств очевидцев в работе: *The Historian and Historical Evidence*. New York, 1926. P. 26–49.

ким и демоническим «Иваном Ужасным» из Треблинки. Свидетели, которые были уверены в этом, оказались не правы<sup>9</sup>.

В самом деле, массивный сбор доказательств о Холокосте мало что может, если вообще может, сделать для его более точного исследования. Более того, доказательства собраны потому, что им приписывается характер сакральных реликвий. В исследовании «Холокост в американской жизни» историк Питер Новик убедительно написал о «сакрализации» Холокоста, произошедшей в конце 1960-х<sup>10</sup>. Святость того, что исследуется, оправдывает массив собранных доказательств. Кроме того, сакральный характер доказательств обесмысливает их как свидетельства. В этой перспективе не имеет значения, что видеосъемка как доказательство, предлагаемое спустя столетия после конца Второй мировой войны, на которой запечатлены ответы свидетеля на вопросы репортера, вероятнее всего, мало что знающего о том месте и времени, о котором говорит свидетель (а возможно, не знающего даже языка или языков участников тех событий), вносит нечто новое в историческое знание. Важным является ритуал сбора, сохранения и воссоздания доказательства, а не его содержания как свидетельства.

Такой тип сбора доказательств далек от западной (или, возможно, любой) традиции историописания. Он не свойственен Геродоту, он не свойственен даже преемнику Геродота, его коллеге и конкуренту Фукидиду. Фукидид настаивал, что ему интересно только то, что действительно *произошло* в прошлом, и он сделал специальный акцент на желании избежать «ненадежных потоков мифологии». Фукидид использовал слово *muthodes*, что означает «легендарный» или «невероятный»; оно производно от слова *muthos*, которое в разных контекстах означает «речь», «сообщение», «заговор» и «история» и, как уже отмечено, соотносится со словом «миф»<sup>11</sup>. В начале своей книги Фукидид жалуется, что люди склонны принимать

<sup>9</sup> Douglas, Lawrence P. *The Memory of Judgment: Making Law and History in the Trials of the Holocaust*. New Haven, Conn., 2001. P. 196–207. Осуждение Демьянюка к смертной казни было отменено в 1993 г. Верховным судом Израиля. Нужно отметить, однако, что в характерно осторожном исследовании Кристофер Р. Броунинг показал, что там, где критическое сравнение является возможным, доказательство свидетеля может действительно помочь историкам заполнить промежутки в историческом знании прошлого. См.: Browning. *Collected Memories: Holocaust History and Postwar Testimony*. Madison, Wisc., 2003.

<sup>10</sup> Novick, Peter. *The Holocaust in American Life*. Boston, 1999. P. 199–201 and passim.

<sup>11</sup> Liddell and Scott. *A Greek-English Lexicon*. New Edition, s.v. *μῦθος, μῦθ-ῥοιον*.

на веру первый же рассказ, который они слышат. Стремясь добраться до фактической истины, он «...не считал достойным писать все, что узнавал от первого встречного или что сам мог предполагать...» Более того, он решил писать только о тех событиях, в которых сам участвовал, или о тех, что узнал «по достовернейшим свидетельствам настолько полно, насколько это позволяет давность». Фукидид понял, что «очевидцы событий передавали об одном и том же не одинаково, но в меру памяти или сочувствия к той или другой из сторон»<sup>12</sup>.

Другими словами, «память» не была чем-то таким, что Фукидид находил интересным в своей работе. Она функционировала для него как наиболее важный источник свидетельств. Он беседовал с очевидцами, собирая их воспоминания о событиях войны, и затем, если мы можем доверять его исследованию, он пытался проверить эти воспоминания, сопоставляя их друг с другом, с тем, что он видел сам, и, возможно, с любыми другими источниками, которые он мог найти. В глазах Фукидида, короче говоря, это вообще не было вопросом сохранения памяти. Если что и было, так это проблема *коррекции* памяти, включая его собственную, где искаженные воспоминания всех рассматривались как проверка искаженных воспоминаний каждого. Таким образом, историк использует память, чтобы добраться до того, что лежит вне нее. Это не только позиция Фукидида, до недавнего времени это также было бесспорной господствующей тенденцией в профессиональной истории<sup>13</sup>.

Напротив, в новом понимании истории, ориентируемом на память, можно найти то, что можно было бы назвать «дважды позитивным» центрированием на память. Я называю это «дважды позитивным», потому что это понимание оценивает «память» двумя способами. Во-первых, оно оценивает воспоминания исторических агентов и действующих лиц прошлого «для их собственной выгоды», то есть весьма независимо от точности воспоминаний. Во-вторых, оно оценивает наше знание этих воспоминаний, знание, которое не бесстрастно, но есть форма памяти, где человек связывает прошлое, на-

<sup>12</sup> Thucydides. *History of the Peloponnesian War* / trans. Rex Warner. Harmondsworth, 1956. 1.21–22 (русск. изд.: Фукидид. *История // Историки Греции*. М., 1976. С. 168).

<sup>13</sup> R. G. Collingwood. *The Idea of History*. Изд. пересмотр. и исправл., включая *Лекции 1926–1928*, ed. Jan Van der Dussen. Oxford, 1994. P. 234–235, 366–367 (русск. изд.: Коллингвуд, Р. Дж. *Идея истории*. М., 1980. С. 223–224, 226–227, 280–281 и т. д.)

стоящее и будущее в общей структуре воспоминаний. Ориентируемая на память историография есть особый случай более общей области историографии, которую можно назвать *аффирмативной (подтверждающей)* историографией – подтверждающей потому, что ее фундаментальная цель состоит в том, чтобы поддерживать определенную традицию или группу, чью историю и опыт она изучает. Очевидно, что человеку необходимо иметь аффирмативные отношения к определенной традиции – желание поддерживать эту традицию, быть ее последователем и защитником, если человек вообще чувствует необходимость оправдания своего участия в гигантских усилиях по сбору воспоминаний участников прошлых событий просто с целью их сохранения для настоящего и будущего. Обратите внимание, что я не утверждаю, что такая деятельность незаконна. Я только утверждаю, что неправильно, даже нечестно не говорить, для чего она осуществляется, а именно – для упражнения в благочестии. И создатели, и потребители истории должны знать, что познавательная ценность (или ее отсутствие) такого воспоминания – вопрос, который совсем не зависит от эмоционального и экзистенциального воздействия, которое это воспоминание может оказывать на нас.

Ориентируемая на память аффирмативная историография есть версия «обычного» или «вульгарного» понимания истории, которую идентифицирует и обсуждает Хайдеггер в последнем разделе «Бытия и времени»<sup>14</sup>. Нет необходимости обсуждать «технические» особенности взгляда Хайдеггера на историю, тем более что мой исходный тезис прост. Аффирмативная историография подчиняет прошлое тем проектам, которыми люди заняты в настоящем. У нее отсутствует критическая позиция по отношению к тем воспоминаниям, которые она собирает, и к традиции, которую она поддерживает. В самом деле, она не только не критична по отношению к выбранным воспоминаниям и традициям, но фактически имеет тенденцию к их мифологизации. («Впадение» Хайдеггера в национал-социализм преподносит в этом смысле важный негативный урок). Если фокус исследования историка находится на воспоминаниях прошлых исторических агентов «для их собственной выгоды» (то есть если историк рассматривает воспоминания

---

<sup>14</sup> Heidegger, Martin. *Being and Time* / trans. Joan Stambaugh. Albany, N.Y., 1996. § 73. 378 ff (нем. нумерация стр. – Пер.).

как ценные сами по себе), и если историк одновременно думает об историческом исследовании и написании истории как предполагаемом продолжении таких воспоминаний, то это заводит в тупик тот тип процедуры критического анализа, первым практиком которой, возможно, был Фукидид.

\*\*\*

*Должно ли* стать центральной задачей историописания сохранение и восполнение памяти? Можно считать и так, одобряя то понимание задач истории, которое демонстрируют политические деятели, образовательные учреждения, популярные средства информации и некоторые историки. Но мой тезис состоит в том, что история, скорее, должна элиминировать память и заменить ее чем-то другим, что не так привязано к желаниям настоящего. Отказ определенной части людей в некоторых странах прийти к соглашению с аспектами их собственного прошлого не означает, что если существует «дефицит памяти», то положение должно быть исправлено получением ее большего количества. Первая проблема, инспирированная таким взглядом на вещи, есть проблема эпистемологическая. Однако семантика «памяти» известна, она имеет значительный диапазон обычно принимаемых значений и, кажется, обладает, как предположил Коллингвуд, характером быть «непосредственной». Другими словами, если человек искренне утверждает «я помню, что Р», то мы не имеем никаких адекватных оснований для оспаривания этого утверждения: мы должны принять, что это то, что человек действительно помнит. Но история бывает разной, например, в данном случае необходимо привлечение свидетельства. Как хорошо говорит об этом Коллингвуд: сказать, что я не забываю написать письмо к тому-то и тому-то, есть утверждение памяти, но не историческое утверждение, но если я могу добавить «здесь есть его ответ», то я рассказываю историю<sup>15</sup>. По общему признанию, неплохо было бы немного смягчить жесткую дистинкцию, установленную Коллингвудом, между историей и памятью, где первая слишком бесстрастна к эмоциональной силе памяти в человеческой жизни. Но бесспорная важность памяти для нашей повседневной индивидуальной и коллективной жизни не оправдывает утверждение, согласно которому историю нужно приравнять к памяти.

---

<sup>15</sup> Collingwood. *The Idea of History*. P. 366, 252–254 (Коллингвуд. *Идея истории*. С. 209, 280, 282–283.)

Это положение подводит нас ко второй проблеме, которая по своему характеру является и экзистенциальной, и практической. Вторая проблема есть в то же самое время проявление в реальной жизни эпистемологической дистинкции между историей и памятью. Очевидно, что во многих ситуациях люди страдают не от дефицита так называемой памяти, а от ее избытка. Наиболее отчетливо «память» о предположительно древних конфликтах часто инспирирует и усугубляет глубокий конфликт в настоящем. Вспомните о роли «памяти» в израильско-палестинском конфликте, на Балканах и в Северной Ирландии, если взять только эти три примера. Когда в таких ситуациях «память» наталкивается на «память», люди часто увязают в «соревновании» воспоминаний, которое не имеет смысла и никак не может быть понято. Важно, что историки не участвуют в таких «соревнованиях» памяти. В большинстве случаев, в таких соревнованиях нет победителей: одна группа «помнит» одним образом, другая – другим. Но, что более важно, эти соревнования являются, или должны быть, нерелевантными любым актуальным *реальным* проблемам. Реальные проблемы почти всегда принадлежат не наследуемым конфликтам, реальным или вымышленным, но к различиям в настоящем и в недавнем прошлом. Акцентирование памяти в таких конфликтах историки должны, конечно, принять во внимание, но это не то, чему они должны следовать. Так, например, «память» одновременно и подстрекает к таким конфликтам, и является признаком отказа вовлеченных в него людей иметь дело с причинами конфликта конкретно в той ситуации, в которой они живут.

Можно, конечно, найти ситуации, где дефицит исторического *знания* преобладал и служил основой для конфронтации с реальными проблемами настоящего. Одна из таких проблем – как быть с преступлениями прошлого. В 2000 г. я провел шесть месяцев в Австрии и не мог пройти мимо случая с доктором Гроссом, врачом из Вены, ответственным за эвтаназию во времена Второй мировой войны большого количества детей-инвалидов. После войны он сделал большую и прибыльную карьеру профессора Венского университета и хорошо оплачиваемого эксперта-психиатра в системе суда Вены<sup>16</sup>. Хотя его прошлое было известно властям, это не вре-

---

<sup>16</sup> Silverman, John. Gruesome Legacy of Dr Gross. BBC News Online, May 6, 1999. [www.news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/336189.stm](http://www.news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/336189.stm). О применении эвтаназии в Вене в годы

дило его карьере. Серьезная попытка привести его к правосудию осуществилась только в конце 1990-х гг. Был ли отказ судов рассматривать случай Гросса правильным и полезным, а отказ австрийских историков заметить этот или другие случаи австрийского коллаборационизма с преступлениями нацистов результатом «дефицита памяти»? Нет. Эти связанные между собой отказы ни в каком смысле не являются результатом недостатка «памяти». В случае Гросса было много свидетельств памяти как на стороне его защитников, так и на стороне родственников убитых детей. Значит, существенной была проблема *осмысленного* отказа, прежде всего, со стороны профессиональных австрийских историков.

Без сомнения, этот отказ в какой-то мере зависел от решений, которые были приняты вне исторической профессии, например, оплата и назначение на должность профессора. Но очевидно, что эти решения не были *полностью* приняты вне исторической профессии, которая в Австрии, как и в других странах, имеет тенденцию близко – иногда слишком близко – переплетаться с каждодневной политикой. Одна из функций исторической профессии состоит в том, что она всегда должна сопротивляться политической сиюминутности дня и исследовать прошлое с тщательной осторожностью и точностью, не обращая внимания на возможные последствия. Очевидно, что это происходит не всегда. В любом случае, отказ и австрийской юридической системы, и историков Австрии адекватно рассмотреть случай доктора Х. Гросса не был результатом недостатка памяти. Влиятельные люди в Вене обладали достаточной памятью о сути (хотя, возможно, без деталей) того, что произошло. Многие люди в Австрии стремились поддерживать миф о том, что Австрия была неповинна в преступлениях третьего рейха<sup>17</sup>. Про-

---

власти третьего рейха см.: Herwig Czech. *Forschen ohne Skrupel: Die wissenschaftliche Verwertung von Opfern der NS-Psychiatriemorde in Wien // Von der Zwangssterilisierung zur Ermordung. Zur Geschichte der NS-Euthanasie in Wien*. Teil II, ed. Eberhard Gabriel and Wolfgang Neugebauer. Vienna, 2002. P. 143–164.

<sup>17</sup> Миф о «невинной Австрии» наиболее ясно и открыто продемонстрирован в мюзикле «Звуки музыки», который в 1965 г. был экранизирован и стал весьма популярным кинофильмом. Семейство, изображаемое в кинофильме, фон Траппс (прототип настоящего австрийского семейства), показало невозможность прийти к соглашению с третьим рейхом, предоставляя Австрии право идти своим путем. Нереплексивный зритель мог бы рассматривать фон Траппсов как представителей Австрии вообще. Историк, с другой стороны, обязан задать эпистемологический вопрос, а именно: какие свидетельства доказывают, что множество других австрийцев действовали или даже только *думали так*, как фон Траппсы?

глядывалось большое нежелание слишком глубоко копаться – или вообще копаться – в том, в чем на самом деле принимали участие Австрия и австрийцы в ходе Второй мировой войны. Если бы реальное прошлое было обнаружено и осмыслено вовремя, тогда намного раньше можно было бы понять, какой вид судебного и политического действия был бы необходим, чтобы окончательно похоронить в прошлом нацистские преступления Австрии.

Безусловно, без института памяти нет никакой истории. Невозможность истории без памяти проявляется, по крайней мере, в двух случаях. Первое: историческое исследование и написание истории тесно связано с опытом времени – момент, на который решительно указал Поль Рикер. Без человеческого опыта времени, на самом элементарном уровне различия между тем, что случилось ранее, что происходит сейчас и что будет происходить впоследствии, не могло бы существовать никакое историописание. И также очевидно, что человеческий опыт времени не мог бы существовать без памяти. В самом деле, можно сказать, что память есть один из способов получения человеком опыта времени, которое сосредоточено в прошлом. Таким образом, память формирует основное концептуальное и предварительное условие, делающее историописание возможным. Без памяти невозможен был бы опыт времени, а без опыта времени мы не могли бы правильно располагать события и «экзистенциалы» в прошлом, в отличие от возможности их расположения в актуальном или вечном настоящем<sup>18</sup>. Второе: отношение между историей и памятью можно рассмотреть на уровне содержания. Среди многих других вещей история имеет дело с историческими фактами. (История также имеет дело с перспективами или интерпретациями, но сейчас мы оставим этот вопрос в стороне, он будет рассмотрен позже). Обнаружение фактов в исторических ис-

---

<sup>18</sup> Ricoeur, Paul. *Time and Narrative*. 3 vols. Chicago, 1984–88; vols. 1 & 2 / trans. Kathleen McLaughlin and David Pellauer; vol. 3 / trans. Kathleen Blarney and David Pellauer, 1: 91–230. Кто-то может посчитать акцент Рикера на опыте времени чрезмерным. Например, должен ли археолог, исследуя имеющиеся археологические данные, принимать во внимание опыт времени, чтобы доказать, что вещи, возможно, изменились определенным образом? Я не думаю: вывод может быть сделан как экстраполяция на существующие, неполные данные. Но точка зрения Рикера кажется более широкой: сама концепция прошедшего требует памяти и опыта времени. Это – одна из вещей, которая делает историю отличной от палеонтологии или от исторической политической науки (русск. изд.: П. Рикер. *Время и рассказ*. Т. 1–2. М. – СПб., 2000).

следованиях и обнаружение фактов, ментально воссозданных историками в ходе исследований, было бы невозможно без памяти.

Однако сказать, что память является *conditio sine qua non* истории, не означает, что память есть основа истории, не говоря уже о том, что является этой основой. Обманчиво легко перепрыгнуть от первого утверждения ко второму. Память принято рассматривать как источник или корень истории, а историю расценивать как берущую начало от памяти и в некотором смысле никогда не покидающей ту территорию, которую предлагает память. Эту позицию занимает Жак Ле Гофф в своей книге «История и память». Там он характеризует память как «сырье» истории и предлагает, чтобы, «ментальная, устная или письменная, она была живительным источником, из которого черпают историки»<sup>19</sup>. На это можно сказать: «да, но...», поскольку потенциально очень опасно рассматривать память в качестве источника исторических фактов. Рассмотрим такой пример: известно, что «воспоминания» (то есть доказательства) оставшихся в живых жертв Холокоста отмечены погрешностями – некоторые тривиальными, некоторые не столь уж тривиальными. Как уже отмечалось, люди, работающие со свидетельствами, давно знают ненадежность даже непосредственных воспоминаний очевидцев событий. Также известно, что воспоминания меняются со временем, а также потому, что их носители все дальше отдаляются от тех событий, о которых их спрашивают, на них воздействует то, что они слышали или читали позже. Для того, кто вспоминает, легко ошибиться в деталях, например, относительно точного местоположения или числа газовых камер и печей крематория. Также вспоминающие имеют тенденцию объединять в своих воспоминаниях события, факты или интерпретации, которые стали доступными только после того, как события произошли. Если мы придаем памяти абсолютную ценность, то мы открываем дверь опасной идее пытаться использовать неизбежные ошибки в воспоминаниях и тем самым полностью дискредитировать то, что говорят вспоминающие. Эта была любимая тактика тех, кто отрицал факт Холокоста. Поэтому и существуют прагматические основания для ухода от излишнего углубления в воспоминания.

---

<sup>19</sup> Le Goff, Jacques. *History and Memory* / trans. Steven Rendell and Elizabeth Claman. New York, 1992. XI.

Есть также и хорошо разработанный теоретический аргумент против слишком сильного полагания на память или, более точно, на доказательства, в соответствии с которыми воспоминания четко сформулированы и доступны всем. Современная историческая традиция выделяет два основных типа исторического свидетельства. Хотя они и существуют в континууме, на концептуальном уровне они четко отличны друг от друга. Концептуальное различие, которое учитывает в своей работе любой уважающий себя историк, заключается в том, что в историческом свидетельстве выделяют исторические *следы* и исторические *источники*. След есть что-то, оставшееся от прошлого, что не может нам прошлое открыть, что просто является частью обычной жизни прошлого. Источник, с другой стороны, является чем-то, что было задумано его создателем как некое исследование событий. Эта вторая категория свидетельства, которое мы могли бы также назвать «доказательством», конечно, более основательно полагается на память, чем на следы<sup>20</sup>.

Легко людям, не привыкшим к размышлению о теории и методе, недооценивать ту роль, которую непреднамеренное свидетельство играет в историческом исследовании и написании истории. Примером следа в его чистой форме могут быть две протоптанные дорожки шагов, ведущие к двум дверям. Эти дорожки позволяют нам сделать вывод о числе людей, использующих тот или иной вход (только такой вывод возможен в одной из историй о Шерлоке Холмсе)<sup>21</sup>. Другой, менее очевидный, пример, являющийся частью непреднамеренного свидетельства, есть расписание движения поездов, вывешиваемое на вокзале. В отличие от авторов, скажем, средневековой летописи, люди, разрабатывающие эти графики, не делают этого с намерением составления некоего исторического отчета. Они делают это потому, что графики необходимы, чтобы эффективно направлять поезда без угрозы их столкновения. Хотя такие графики не составляются для того, чтобы в будущем историки

---

<sup>20</sup> Разница между следами (*Überreste*) и источниками (*Quellen*) в ряде деталей обсуждена Дройзеном: Droysen, J. G. Outline of the Principles of History / trans. E. Benjamin Andrews. Boston, 1893, § 21–26 (translation of the 3rd ed. of Droysen's *Grundriss der Historik* [1881]). Он возвращается к размышлениям Хладениуса об историческом методе в его работе *Allgemeine Geschichtswissenschaft*, впервые вышедшей в 1752 г. (русск. изд.: Дройзен Г. Принципы истории. М., 2004).

<sup>21</sup> Webb, Eugene T. et al. Nonreactive Measures in the Social Sciences, 2nd ed. Boston, 1980. P. 4.

могли восстановить действия железной дороги, историки могут это сделать. Так, расписание движения поездов в Центральной Европе в ходе Второй мировой войны рассматривается как свидетельство Холокоста, хотя составители этих графиков, конечно, не преследовали такой цели. Историк, изучая график сентября 1942 г., может увидеть, что поезд был послан полностью загруженным к неизвестному запасному пути в Польше, и он был пуст, когда его загнали на этот запасной путь. Историк может сделать выводы из этих фактов<sup>22</sup>. Эти выводы не имеют никакого отношения к кем-то представленным доказательствам. Это не память, а, скорее, *нечаянный* остаток прошлого, «сырье» истории.

Обычно оба вида свидетельства, непреднамеренное и намеренное, вовлекаются в процесс конструирования исторического исследования. Хотя это может показаться неправильным, но есть смысл в том, что иногда непреднамеренное свидетельство является гораздо более фундаментальной основой исторического знания, чем свидетельство, которое как таковое обозначили в прошлом. Это так потому, что этот «источник» неизбежно будут путать с воззрениями людей прошлого и неадекватными представлениями о том, что произошло, тогда как «след», по крайней мере, в его чистой форме, будет лишен такой примеси. «Источники» уже всегда являются интерпретациями событий, а «следы» – нет. Безусловно, «следы» не предлагают нам факты в чистом виде, этого вообще никто не делает. Но в непреднамеренном свидетельстве следы изолированы от сознательных или бессознательных желаний людей помнить и свидетельствовать каким-то особым способом. Память не обладает этим видом объективности.

\*\*\*

Все же было бы слишком просто окончить наши размышления на этом пункте, так как история исследует более широкие проблемы, чем просто точное установление исторических фактов. Факты важны, но они – только один аспект хорошего исторического исследования. Главная особенность любого исторического исследования,

---

<sup>22</sup> Я упоминаю сцену фильма Клода Ланзмана «Shoah» (1985), где историк Рауль Хилберг, занимающийся исследованиями в Барлингтоне, штат Вермонт, понимает, какой вывод можно сделать из одного такого графика поезда Fahrplananordnung 587: он свидетельствует прохождение полного поезда, пятьдесят грузовых вагонов, к Треблинке и отъезд пустым из нее. (Ланзманн, Клод. Shoah: Полный текст фильма. Нью-Йорк, 1985. С. 138–142).

достойного такого названия, есть попытка расположить факты в пределах большей структуры. Говоря другими словами, исторические исследования имеют дело с *отношениями части и целого*. Факт может рассматриваться как «часть», но часть бессмысленна, если она не вписана в границы больших структур, которые придают фактам значение. Отчасти эти структуры имеют корни в мире настоящего, где историк живет. Когда кто-то пытается четко сформулировать понятие исторического размышления, он должен задать себе один вопрос: каким именно способом могут быть связаны исторические исследования с миром настоящего? Я хочу доказать, что историописание нужно понимать как нечто, что может быть ориентировано на мир настоящего тремя возможными способами. Два этих способа близки к альтернативности, третий есть подобие их синтеза.

Одна точка зрения рассматривает историописание как отправляющее функцию консолидации и поддержки сообщества, группы, Volk, государства, нации, религии, политического единства и так далее, из которого историописание возникает. Противоположная точка зрения рассматривает историю как выполняющую прежде всего критическую и негативную функцию в отношении того сообщества, из которого она возникает, и того прошлого, которое она изучает. Между историографией, которая подтверждает, и историографией, которая занимается критическим анализом, имеется третья, дидактическая, позиция, которая стремится вести Volk, или народы, в направлении лучшего будущего. Казалось бы, я должен выбрать среднюю, дидактическую позицию, благодаря ее попытке стать посредником между двумя другими позициями – подтверждения и критического анализа. Но ввиду значения настоящего (и прошлого, которое неотрывно от него) история в действительности должна выполнять критическую роль. Дидактическая историография благородна, но она незаконно пытается заставить историю делать то, на что та не имеет полномочий, то есть быть наставником так же, как критическая.

Мой выбор критической историографии, в противоположность аффирмативной или дидактической, частично объясняется тем значением, которое я придаю различным методологическим дистинкциям, привносящим определенную ясность и точность в вопрос понимания прошлого. Напротив, аффирмативные и дидактические подходы к истории склонны не прояснять, а даже преднамеренно

скрывать структуру тех предположений и приемов, которыми они оперируют. Более важно то, что если кто-то выбирает критическую историографию, то он *должен* отличать историю от памяти. Очевидно, что память не является простым воспроизведением прошлого, это далеко не так. Поэтому нельзя утверждать, что память пассивна, напротив, это активная способность человека, ведь мы знаем о том поистине творческом способе, которым она ориентирует саму себя на известные факты прошлого. Но память – не критическая или рефлексивная способность, и это становится абсолютно очевидным, когда различные «воспоминания» вступают друг с другом в противоречие (как тенденция это случается всякий раз, когда различные этнические группы, например: израильтяне и палестинцы, сербы и хорваты, боснийские сербы и боснийские мусульмане и т. д. – приводят различные «исторические» оправдания в пользу их доминирования в регионе). Непосредственно на уровне «памяти» конфликт *различных* «воспоминаний» не может быть признан<sup>23</sup>. Критическое разрешение противоречия между конфликтующими воспоминаниями может быть найдено только на другом уровне, где критерии иные, чем разворачивание мнемонических схем. Говоря другими словами, память не может быть ее собственным критическим тестом. Критика должна прийти извне памяти. Критика «памяти», поскольку память формулирует утверждения об истории и об отношении этой предполагаемой истории к настоящему, может быть сформулирована только как методологический аспект исторического исследования, почерпнута из размышлений, восприимчивых к релевантности *или иррелевантности* этого исследования проблемам настоящего.

Но нельзя видеть только различия между историей и памятью. Нужно также видеть различия между разными концепциями, которые в недавних дискуссиях были эклектически объединены вместе под одной рубрикой «память» (что и объясняет, почему я часто употреблял слово *память* в кавычках). Основной смысл памяти состоит в том, что мы можем назвать «опытом». В опытном смысле

---

<sup>23</sup> Höpken, Wolfgang. Kriegserinnerung und Nationale Identität(en): Vergangenheitspolitik in Jugoslawien und in den Nachfolgestaaten. *Transit: Europäische Revue* 15 (Fall 1998): 83–99. Хепкен пишет о противоречивых воспоминаниях Второй мировой войны ее участников в Греции и Югославии и замечает, что «расходящиеся воспоминания не только возникают рядом друг с другом, но и противоречат друг другу как конфликты памяти, которые только с трудом могли бы, если могли, быть разрешенными в беседах» (85). Примеры могли бы быть умножены бесконечно.

«историческая память» обозначает опыт людей, которые на самом деле участвовали в обсуждаемых исторических событиях. Более точно – историческая память обозначает восстановление и преобразование этого опыта в нарратив. (Таким образом, только те, кто на самом деле попал в жернова Холокоста в 1933–1945 гг., могут сказать, что у них есть «память» о Холокосте в опытном смысле термина *память*.) Очевидно, что некоторый интерес к «исторической памяти», который появился в последней четверти XX столетия, сосредоточен на памяти именно в этом смысле. Видеосъемка бесед с оставшимися в живых мучениками Холокоста в основном предназначена для сохранения памяти об опыте того, что имело место при Холокосте. Как уже отмечалось, эта обширная видеосъемка не имеет почти ничего общего с проектом сбора большего количества свидетельств о машине Холокоста. Она есть фиксация *непосредственного* опыта, который и является центром внимания<sup>24</sup>. Чтобы считать, что Холокост является абсолютно специальным случаем приложения памяти, нужно понимать: кроме памяти и опыта как ее главного объекта, также важно рассматривать и другие существующие жанры истории, включая «историю снизу», *Alltagsgeschichte* («историю повседневности») и доминирующие версии культурной истории, где центр исследовательского интереса в большей степени расположен на анализе процессов культуры, чем на их содержании.

Использование термина «память» для верификации истории абсолютно законно. Но есть и другой термин, также широко используемый в современных исторических дискуссиях – «коллективная память». Коллективная память возникает в том случае, когда множество людей участвует в одних и тех же исторических событиях. Тогда можно утверждать, что эти люди могут иметь «коллективную» память об этих событиях, но не в смысле той памяти, которая существует исключительно индивидуально – нет «памяти» вне ин-

---

<sup>24</sup> Пока я пересматривал эту главу, я получил электронную почту от Джорджа Крафта, специалиста отдела комплектования библиотеки университета Вирджинии, где отмечено, что фонд «Визуальная Основа Истории» передал библиотеке 51 000 копий видеосъемок интервью с оставшимися в живых мучениками Холокоста из архива Спилберга. Крафт также отметил, что интервью были «доступны только для закупки, но не бесплатно» и что их стоимость была \$ 92.00 за кассету. Полный архив стоил бы \$ 4.692.000, цена далеко вне досягаемости почти для любой академической библиотеки. Но, возможно, многие люди хотели бы заплатить \$ 92.00, чтобы увидеть бабушку и дедушку, рассказывающих об их Холокосте. Это подтверждает мои размышления.

дивидуумов, – но в смысле, которым каждый человек обладает в пределах его или ее собственного мнения и в пределах его или ее собственного тезауруса, образного мышления или *gestalt*-опыта, который разделяют и другие люди. Кроме того, эти образы или *gestalten* в большой степени накладываются друг на друга, иначе память не была бы «коллективной». Оставшиеся в живых мученики Холокоста могут, таким образом, иметь коллективную память об опыте, который позже, в течение 1960-х гг., стал известным как Холокост. Каждый приобрел свой собственный опыт, но общее воспоминание относится к единому для всех набору событий. То же самое, без сомнения, будет истинно для многих людей, кто испытал на себе, так или иначе, события от 11 сентября 2001 г.<sup>25</sup>

Вопрос, который здесь нас интересует, заключается не в том, оправдан ли интерес к тому, каким образом люди приобретали опыт своего исторического прошлого или как они сохранили этот опыт в воспоминаниях и доказательствах. Ответ на этот вопрос очевиден. Вопрос в том, каково должно быть отношение историка к этим историческим «воспоминаниям». Здесь мы обнаруживаем интересное различие четырех видов отношений к исторической памяти, или, возможно, более точно, четырех различных способов использования исторической памяти. Три из них расположены во внутренней области исторического исследования и историописания; четвертый лежит вне поля исторического исследования и историописания, на другой исследовательской территории.

Первое отношение: историческая память или, более точно, наррация прошлого, которую произвели воспоминающие, может служить историку свидетельством того, что объективно произошло в прошлом, то есть того, что произошло в форме внешне наблюдаемых событий. В конце концов, используют же историки «следы» и «источники» в своих конструкциях или реконструкциях прошлого. «Память» в форме воспоминаний участников событий является одной из категорий источников, используемых для исследования корпуса прошлого. Иногда память важна для обнаружения исторического свидетельства, которое иначе было бы недоступно. Таким

---

<sup>25</sup> Лучшее введение в проблему коллективной памяти см.: Halbwachs, Maurice. *On Collective Memory* / ed. and trans. Lewis A. Coser. Chicago, 1992; особенно введение переводчика, с. 1–34.

образом, рассказы свидетелей могли бы на самом деле стать единственным свидетельством, которое мы имеем о восстании в Vernichtungslager (лагерь смерти). Однако все же лучше, когда этот вид свидетельства может быть проверен сопоставлением его с непреднамеренным свидетельством.

Второе отношение: историческая память может служить историку в качестве свидетельства того, каким образом пережили прошлое те люди, которые позже сделали запись своих воспоминаний. Другими словами, историк мог бы перемещать свое внимание от того, что случилось в прошлом в форме внешне наблюдаемых действий и событий, к тому, что происходило в умах и душах людей, вовлеченных в них. Короче говоря, историк мог бы попытаться сконструировать или восстановить *опыт участников истории* (в таком-то и таком-то наборе исторических событий). В идеале этот вид исторического исследования, сосредоточенного на рассмотрении опыта исторических агентов, должен вступать в диалог с другими формами исторического исследования. Они могут быть сфокусированы на таких вещах, как структурные и материальные условия и детерминанты истории, философские и религиозные допущения и обязательства, научные теории, технические методы, взгляды на то, каковы наилучшие способы организации политической и социальной жизни и т. д.

Третье отношение: историческая память сама по себе может стать для историка объектом историографического внимания. То есть историк может сосредотачиваться не на внешне видимых событиях прошлого и не на опыте их участников, а вместо этого на способах запоминания этими людьми их опыта, для чего, конечно, зафиксированные воспоминания будут рассматриваться в качестве свидетельства. Понятно, что способ запоминания людьми прошлого также является легитимным объектом исторического исследования, и это такой же отдельный вопрос, как и то, являются ли их воспоминания точным воспроизведением прошлого, которое, как они утверждают, они запомнили.

Четвертое отношение: существует такой способ доступа к зафиксированным воспоминаниям прошлых событий, который находится вне диапазона действия историка. Здесь зафиксированные воспоминания

нения прошлых событий или, более точно, нарративизация этих воспоминаний, становятся чем-то родственным объектам религиозного почитания. Воспоминания превращаются в ценные объекты в собственном смысле этого слова. Развитие этого отношения можно видеть, прежде всего, в отношении памяти Холокоста, но что-то подобное, конечно, случается также и в других контекстах.

Когда возникает поклонение, память в ее основном, опытном смысле превращается в нечто иное: *она становится коммеморациями*. Я рассматриваю память вообще как персональный опыт отдельных индивидуумов или групп индивидуумов, которые приобрели некоторый общий опыт. Память начинается с более или менее спонтанного запоминания проживаемого в данный момент опыта. Память и коммеморация родственны друг другу, но они также и резко отличны. Если память есть побочный продукт прошлого опыта, то коммеморация обречена находиться *в настоящем*. Коммеморация возникает в желании сообщества, существующего в данный момент, подтвердить чувство своего единства и общности, усиливая их через разделяемую сообществом ориентацию на прошлые события, или, более точно, через ориентацию на репрезентацию прошлых событий. Рассматриваемые случаи могут или, возможно, не могут иметь место в действительности. Это никакое не недоразумение, что коммеморация есть важный элемент в некоторых религиях: возьмите Пасху в еврейской традиции или Рождество и Пасху в христианской. Коммеморация есть способ скрепления сообщества, сообщества коммемораторов. Некоторые комментаторы, серьезно рассматривая этимологическую связь между *religio u religare* (связывать), видят функцию религии в сохранении сообщества. В этом смысле коммеморация имеет много общих качеств с религией.

\*\*\*

Должны ли историческое исследование и историописание иметь такие же императивные функции? То есть должны ли историческое исследование и историописание отправлять как важную функцию объединения человеческого сообщества подтверждением его общего опыта (возможно, мифического)? Говоря другими словами, должна ли история быть фундаментально подтверждаемой тем сообщест-

вом, в котором она возникает? Это важный вопрос, он появляется в разном контексте в разные времена и пространства. Он провоцирует согласиться, что да, конечно, история должна обладать функцией подтверждения. Он соблазняет сказать это потому, что *фактически* историческая дисциплина вообще всегда была подтверждением определенного политического порядка, который и платил ей за это. Казалось бы, подтверждение того сообщества, из которого оно появляется, есть постоянное сопутствующее обстоятельство организованного историописания. А единственная вещь, которая изменяется, есть специфический акцент и направление подтверждения.

В XIX столетии дисциплина история была очень тесно связана с расширением мощи европейского национального государства. В Германии, Франции и Англии, так же, как в Соединенных Штатах Америки, недавно ставшая профессиональной история как научная дисциплина имела тенденцию служить идеологической поддержкой государства. В немецко-говорящих странах, например, в Пруссии и ее землях (или, альтернативно, в землях ее политических противников); в секуляризированной Французской республике с ее *цивилизационной миссией*, появившейся после поражения Франции во франко-прусской войне 1871 г.; в то же самое время в Англии и ее колониях; также необходимо учитывать и национальные, а затем имперские претензии Соединенных Штатов, – в каждом из указанных случаев имелся свой «господствующий нарратив», который проходил через всю национальную историю. Например, господствующий нарратив национального движения, идущий от самого начала пробуждения национального самосознания через его укрепление к текущей борьбе за признание и победу нации. Позади господствующего нарратива располагают больший по отношению к нему «великий нарратив» – секуляризованную версию христианского нарратива о древнем происхождении человечества, его борьбе и окончательном спасении<sup>26</sup>.

Относительная устойчивость господствующего и великого нарративов придавала историописанию специфическую форму и смысл.

---

<sup>26</sup> О германском варианте господствующего нарратива см.: Iggers, Georg G. *The German Conception of History: the National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present*, 2nd. ed. Middletown, Conn., 1983. Об основании истории как дисциплины на великом нарративе христианства см. гл. 6.

За исключением тех историков, которые стояли вне дисциплинарной структуры (вспомните, в частности, швейцарского историка-культуролога и знатока искусства Якоба Буркхардта), фокус исследования был безоговорочно помещен в политическую историю специфического типа. Доминирующий нарратив был нарративом возрастающей актуализации свободы. Иногда он представал в либеральном регистре, с акцентом на прогрессе в свободе индивидуума, позволяющей преследовать его приватные интересы и иметь голос в управлении государством; иногда он подавался в консервативном или авторитарном регистре, с акцентом на культивировании культуры (*Bildung*) и на свободе и мощи государства. Сегодня очевидно, что эти различные господствующие нарративы и великий нарратив, который их подкрепляет, не имеют существенных полномочий. Они утратили эти полномочия тогда, когда война 1914 г. превратилась в кровавую мясорубку. Безусловно, нельзя сказать, что *никто* больше не верит в старый великий и господствующий нарративы. Например, я часто бываю удивлен той степенью веры многих американских студентов в большой американский нарратив о «городе на холме», который стоит как «последняя лучшая надежда человечества» – «надежда мира», как сказал однажды президент Никсон<sup>27</sup>. Но большинство людей, кто думает о таких вещах, и даже многих людей, кто этого не делает, ни старые национальные нарративы, ни великий нарратив свободы и *Bildung* больше не впечатляют. Вместо этого преобладает, как сказал Ж. Ф. Лиотар, чувство «скептицизма к великому нарративу»<sup>28</sup>.

Если история не является поставщиком некоторого вида авторитетного нарратива человеческого прогресса, то что она тогда предлагает? Можно найти множество представлений об истории, циркулирующих в современной культуре и в современной американской культуре, в частности. Просматривается установка на историческую необразованность, которая может быть определена как просто отсутствие всякой явной или даже неявной ориентации на

---

<sup>27</sup> Об Уотергейте см.: [www.watergate.info/nixon](http://www.watergate.info/nixon)

<sup>28</sup> Lyotard, Jean-François. *The Post-Modern Condition: A Report on Knowledge*, 1979 / trans. Geoff Bennington and Brian Massumi. Minneapolis, 1984. XXIII. (русск. изд.: Ж.-Ф. Лиотар. *Состояние постмодерна*. М., 1998. См. гл. 10).

историю. Во временном отношении историческую необразованность можно понять как возможный коллапс горизонта истории в какой-то момент настоящего. Или в когнитивном отношении можно поразмышлять об этом как о грандиозном отказе от истории, где все формы *знания прошлого* или игнорируются, или преднамеренно отвергаются как irrelevantные. Безусловно, здесь необходимо видеть различие между *знанием прошлого* и *знанием из* прошлого. Знания из прошлого вообще не отрицаются, пока они считаются полезными для настоящего. Но знание из прошлого беззастенчиво сосуществует с полным невежеством по отношению к тем контекстам, в которых оно существовало прежде.

Возможно, это звучит снисходительно – желание порассуждать об исторической необразованности, но я не намереваюсь снисходить и ограничусь только фактами и дескрипциями. Использование термина *история* в английском популярном выражении означает «мертвый, ушедший, несоответствующий, проехали», как в классике «крутых» телевизионных сериалов 1980-х гг. (например, на наиболее показательном в этом отношении радио *Miami Vice*: «Бросайте оружие или вы – история!»). Это набор представлений, который, возможно, более американский, чем европейский, и который, возможно, распространен в Америке определенного типа. Некоторые люди ассоциируют это с Америкой предместий и расширением строительства жилья; с Америкой, которая увлечена телевидением; с излишне оптимистической Америкой «а теперь желаю хорошего дня» и развитием предпринимательства. Это – старая история, один из настоящих мифов Америки, миф о гарантированной доле для каждого и победного продвижения на Дикий Запад, оставляя позади старый. И снова и снова вперед. Рассматриваемые перемещения не обязательно даже географические или даже физические. Они могут быть концептуальные, технологические, экономические, политические, научные. В общем, они означают отказ думать об историческом опыте вообще или, если все же о нем думается, отказ проявить внимание к контекстным различиям, которые отделяют прошлое от настоящего и радикально изменяют значение исторических особенностей, являющихся наиболее заметным видимым аспектом прошлого.

**Четыре способа отрицания истории или уклонения от нее**

<i>История как память:</i> история должна воспроизводить или укреплять «культурные воспоминания» определенных групп	<i>История как коммеморация:</i> функция истории заключается в том, чтобы дать возможность людям гордиться своими мертвыми («самое великое поколение» и т. д.)
<i>Историческая необразованность:</i> незнание или игнорирование истории: история как бесполезное изучение «мертвого и прошедшего»	<i>История как традиция:</i> функция истории заключается в пропаганде и укреплении традиции определенных социальных групп

Историческая необразованность не является чем-то специфически американским или чем-то достаточно новым. Конечно, знание истории в основном всегда было одним из двух вещей: дорогим культурным товаром, обладающим чем-то вроде статуса приобретенного вкуса (с некоторым упрощением вспомните здесь Геродота), или потенциальным инструментом для поддержания интересов и оказания помощи реальным или предполагаемым правителям (вспомните Фукидида и его интеллектуальных наследников). Те люди, которые не в состоянии купить такую роскошь или не вхожи во властные структуры, совершенно нормальным образом не будут знать историю, будут к ней безразличны, по крайней мере, при отсутствии великого нарратива прогресса или некоторого функционального эквивалента такого нарратива. Великий нарратив может дать оправдание знанию прошлого, позволяя историческим частностям, которые иначе казались бы иррелевантными, найти их место в более широком поле истории, и это может также служить поддержкой господствующих нарративов, свойственных отдельным этническим, национальным, религиозным и другим группам. При отсутствии великого нарратива, способного определить место и придать значение историческим частностям, историческая необразованность становится чем-то вроде нормальной человеческой позиции<sup>29</sup>.

Вторая установка по отношению к истории, которая обнаруживается в современной культуре (что также имеет отношение к дис-

<sup>29</sup> Безусловно, великий нарратив, если он полностью подчиняет исторические особенности развивающейся истории или истории спасения, которую он сообщает, может заслонять собой историю и историческое размышление. Это то, почему марксизм так легко перепрыгнул от истории к несанкционированной науке или теории истории, и почему христианская история спасения должна была подвергнуться секуляризации прежде, чем она смогла предложить в конце XVIII – начале XIX в. основание для появления исторической дисциплины.

кредитации совсем недавно господствующего и великого нарративов), есть установка, которую мы можем определить как *эстетизм истории*. (В оригинале *aesthesis* истории, который мы перевели как *эстетизм истории*. – Пер.). В реальном мире эстетизм истории часто тесно переплетается с другим установками по отношению к истории. Но на теоретическом уровне можно определить данное явление весьма точно. Эстетизм истории заключается в эстетической ориентации на объекты, дошедшие из прошлого, или это подается так, как будто они дошли из прошлого. Эти объекты рассматриваются как некоторым образом замена прошлого. Фундаментальная ориентация на эти объекты проявляется в восхищении ими или восторге. В эстетизме истории центр внимания сосредоточен на чувственном аспекте рассматриваемых объектов. Эстетизм истории не является действием интеллектуального или этического суждения. При этом нет никакой заинтересованности в более широких контекстах, в пределах которых расположены рассматриваемые объекты, если эти контексты также не могут быть рассмотрены эстетически.

Приведу примеры. То, что я хорошо знаю, расположено недалеко от того места, где я живу, – Иви, штат Вирджиния. Я имею в виду архитектуру центра университета Вирджинии, «академической деревни», с ее ротондой, павильонами и студенческими домиками, разработанными Томасом Джефферсоном как единый ансамбль. Я также имею в виду дом Джефферсона Монтичелло. Эти памятники, но особенно Монтичелло, слишком заметны потому, что изначально они органично вписывались в естественную окружающую среду и все еще сохранили ее следы. Эти памятники побуждают к их чувственной оценке, отличной от чистой, в кантианском смысле, потому что они связаны с особым свойством – историчностью, которым не обладает естественная окружающая среда. В конечном счете *эстетизм истории* проявляет себя в позитивном, благодарном отношении к историческим памятникам. Такой эстетизм может быть обнаружен в «движении сохранения», которое ратует за сохранение старых зданий и защите их от перестроек, которые не вписываются в идею их изначального предназначения. Повсюду в Соединенных Штатах это видно по обозначениям таких примет прошлого, как поля бывших сражений, руины исконных американских построек и так далее. Возможно, как это ни парадоксально, эстетизм истории в са-

мой чистой форме может быть найден там, где объект эстетико-исторического исследования есть абсолютно *сконструированный* объект. Парадигматическим случаем может служить воссоздание судна «Титаник» для популярного кинофильма «Титаник» (1997). Судя по публикациям, огромное количество усилий было потрачено для того, чтобы гарантировать зрителю, что столовое серебро есть точная копия сервировки стола на реальном «Титанике». Другим примером эстетизма истории, конечно, является «Диснеевская Америка» – тематический парк, который в 1994 г. компания Диснея предложила построить в четырех милях от Национального парка сражения при Манассасс в Северной Вирджинии, около Вашингтона, округ Колумбия. Но искусственное, сконструированное прошлое, которое, без сомнения, было бы намного более симпатичным и более возвышенным, чем оригинал, слишком очевидно не соответствовало бы реальным историческим событиям, которые там разворачивались, и проект никогда не был реализован<sup>30</sup>.

Третья установка по отношению к истории, которая возникла вслед за крахом могущества великого нарратива, рассматривает проблему идентификации истории с памятью и с коммеморациями. Историческая необразованность отрицает историю, объявляя историческое знание иррелевантным жизни настоящего и будущего. Эстетизм истории отрицает историю, трансформируя физическую обстановку прошлого в красивые объекты, существующие в «наборе», в сущности, никакого отношения к истории не имеющего. В обоих случаях предпринимается попытка редуцировать наше сознание до горизонта настоящего: в первом случае объявленной иррелевантностью всего, что не *из* настоящего, во втором – объявленной иррелевантностью всего, что не может быть красиво представлено *в* настоящем. Те же самые процессы происходят и при идентификации истории с памятью и коммеморациями. Когда история становится простой, такой, какой люди ее помнят или отмечают ее события, это инспирирует редукцию истории к структуре мышления и действия в настоящем. Память так же много сообщает нам о сознании того, кто вспоминает исторические события в настоящем, как и о самом прошлом. Память есть образ прошлого,

---

<sup>30</sup> Предложение Диснея широко обсуждалось в прессе в 1994 г. См.: David Hackett. Disney, Leave Virginia Alone; Give Us No Imitation History. *St. Petersburg Times*, June 1, 1994.

субъективно сконструированный в настоящем. Таким образом, она сама субъективна; она может также быть иррациональна, непоследовательна, вводить в заблуждение и самодостаточна. Давно известно, что без независимого подтверждения память не может служить надежным маркером исторического прошлого.

Четвертая установка по отношению к прошлому, в дополнение к истории, памяти и поминовению, также заслуживает быть рассмотренной, и это – традиция. Удивляет та степень, в которой множество сегодняшних разговоров о «памяти», особенно о «культурной памяти», является разговорами о традиции. Но это ошибка – соединять вместе память и традицию: результатом этого станет полное непонимание сути происходящего. Память субъективна и персональна; она глубоко опытна. Традиция, конечно, чтобы функционировать, должна войти в опыт людей, но она больше, чем субъективна и персональна. Она над-субъективна; она над-персональна. Традиция подразумевает не передачу персонального опыта через, возможно, уникальный характер и субъективность человека, но через что-то, что гораздо более удалено от индивида, через что-то, что имеет коллективный вес и *над*индивидуальное существование. Традицию мы должны *познать*. Традиция должна быть активно воспринята каждым человеком и поколением. Она, таким образом, как бы дистанцирована от индивида, связана с процессом ее изучения, что не относится к памяти.

История ближе к традиции, чем к памяти и поминовению. В историческом знании вещи начинают соприкасаться с традицией. В определенном смысле, историография есть корабль, идущий в темных водах времени и забвения. Отчасти историография является активной попыткой сопротивляться этим водам. В этом отношении история весьма схожа с деятельностью религиозных школ определенных типов, в которых студентам преподают тексты данной религиозной традиции так, чтобы эти традиции стали их собственными. И все же история, в ее современном понимании, *не является* традицией. Напротив, современная европейская историография возникла в конце XVIII – начале XIX в. как преодоление традиции. Когда великий нарратив, предлагаемый религиозной традицией, потерял большую часть своего авторитета, освободилось место для появления истории как научной *дисциплины*, которая продолжала религиозную

традицию, но тем не менее сумела отделиться и от нее, и от традиции вообще. История в XIX и начале XX в. выдвигала требование своего рода абсолютной объективности, которое сегодня, очевидно, не может быть поддержано. Это требование есть одна из причин того, почему границы между историей, с одной стороны, и памятью и коммеморациями, с другой, были затушеваны и почему в некоторых случаях последние рассматривались почти как синонимы истории.

\*\*\*

Опасно, когда история исходит или из идеи сохранения персональной памяти, или из идеи функционирования как способа поминовения. И также историю нельзя рассматривать как форму традиции, несмотря на сходство между ними. Трансформация истории в память, коммеморацию и традицию имеет тенденцию элиминировать критическую функцию истории. Например, какому разумному и сентиментальному человеку, находящемуся в День поминовения в военном мемориале жертв вьетнамской войны в Вашингтоне, пришло бы в голову предъявлять застарелый счет американскому участию в той злополучной войне? Это не соответствовало бы случаю. Память и коммеморация занимают свои места, но слияние истории с памятью и коммеморациями подчиняет историю мнемонической схеме и юбилейным функциям. Историописание должно быть, скорее, критическим по отношению к порядку вещей в настоящем, чем подтверждать его, и по одной простой причине: многое из того, что появляется в культуре настоящего, уже есть подтверждение этой культуры. Историописание должно быть ориентировано на прошлое, которое изолировано от настоящего, поскольку наша обращенность к прошлому иная и не обладает качеством настоящего. Говорить, что историография должна быть критической к порядку, который поддерживает ее, не означает, в более широкой перспективе, утверждение привилегий критики над аффирмацией. Нужно просто признать, что аффирмация процветает в нормальном ходе вещей, а критицизм – нет. Вопрос, касающийся критики, тем более труден, что историография также должна быть пристрастна к поступающей критике (или так называемым критическим идеям) настоящего времени.

Коротко говоря, увязывание вместе истории и памяти глубоко проблематично. Если историк поступает на службу памяти, созна-

тельно или подсознательно заинтересованные сами в себе и самодостаточные воспоминания индивидуумов и их групп станут окончательным арбитром исторической истины. Это опасно. Задача историка в меньшей степени должна заключаться в сохранении памяти, чем в ее преодолении или, по крайней мере, в ее ограничении. Можно, конечно, представить себе историков, включающих в свои исследования свидетельства прошлого, предоставленные историческими агентами, например, американскими солдатами Второй мировой войны или вьетнамской войны, и даже выходят книги, полностью заполненные свидетельствами такого рода<sup>31</sup>. Но все же ясно, что историкам необходимо выйти из этого жанра.

Должна ли историография быть дидактической? То есть должно ли историописание пытаться предлагать уроки прошлого для наставления людям настоящего? Некоторые философы-историки рекомендуют истории отправлять дидактическую функцию. В Германии, в частности, по причинам, связанным с деятельностью третьего рейха, было написано весьма много трудов под общим заглавием «историческая дидактика»<sup>32</sup>. Трудность, связанная с понятием дидактической функции в истории, состоит в том, что историки *qua* историки, очевидно, не имеют власти предписывать настоящее и будущее. Их задача – иметь дело с конструированием и реконструкцией прошлого. Постольку, поскольку они делают эту работу хорошо, они достаточно подготовлены, чтобы критиковать тех политических деятелей и граждан вообще, кто искажает прошлое в попытке поддержать определенную линию в законодательстве или политике. Так, историк, написавший книгу об интернировании американцев японского происхождения во время Второй мировой войны, имел все основания выступить против политического деятеля, который с целью и сегодня осуществить подобный кавалерийский подход к гражданским свободам использовал подтасованные материалы о той позорной политике<sup>33</sup>. Но историк оп-

<sup>31</sup> Возможно, наиболее известная книга, написанная в таком жанре Studs Terkel, – *The Good War: An Oral History of World War Two*. New York, 1984.

<sup>32</sup> Взять хотя бы почти 800 стр. *Handbuch der Geschichtsdiadatik*, 5th ed., ed. Klaus Bergmann et al. Seelze-Velber, 1997.

<sup>33</sup> Так поступил Эрик Мюллер. Muller, Eric L. *Free to Die for Their Country: The Story of the Japanese American Draft Resisters in World War II*. Chicago, 2001. См.: A Blog Takes Off. *Chronicle of Higher Education*, June 6, 2003. А. 15. (сноска сокращена).

рометчив, если полагает, что его или ее собственные нормативные политические предпочтения в настоящем могут иметь какое-либо значение в историческом исследовании. История может предоставить ряд поучительных рассказов для предотвращения проявления политического высокомерия в настоящем. Но она не может поддерживать предложенную политику. Она может только показать, как такая-то и такая-то политика в прошлом, пестрящая разнообразием исторических актеров, сыграла свою роль в истории.

Уместно вспомнить здесь Кантову работу «Спор факультетов» (1798)<sup>34</sup>. В этой работе Кант различает «низший», философский, факультет, который, как он говорит, должен быть посвящен чистому поиску истины, и «высшие» факультеты юриспруденции, медицины и богословия, которые предназначены для обслуживания интересов государства и общества. Соответственно более высоким факультетам не позволяют чистую свободу исследования и обучения, предоставленным философскому факультету. Однако все преимущество на его стороне. Профессор богословия вынужден следовать за установленной догмой государственной церкви: в этом отношении его свобода ограничена, в то время как свобода профессора философии – нет. Но, с другой стороны, профессор богословия имеет за собой мощь и полномочие установленной догмы. С одной стороны, профессор богословия ограничен в том, что он может сказать, но с другой – его предписывающие слова имеют власть, которой слова профессора философии лишены.

Историк ближе к Кантову философскому факультету, чем к богословскому. Безусловно, я не сказал бы, что участие в дидактическом предприятии, наставлении полностью обходит историка стороной. Но такое предприятие предполагает догматические обязательства, которые нужно ясно представлять, которые должны быть обнародованы и которые не должны вступать в противоречие с поиском исторических истин. Кроме того, в Германии историческая дидактика была частью попытки выкорчевать остатки национал-социализма. Она, таким образом, была критически сориентирована на прошлое Германии. В Соединенных Штатах дидакти-

---

<sup>34</sup> Kant, Immanuel. *The Conflict of the Faculties* / trans. Mary J. Gregor. New York, 1979. (русск. изд.: И. Кант. Спор факультетов. Собр. соч.: в 8 т. Т. 7).

ческая история в процессе своего существования, весьма вероятно, трансформируется в подтверждающую.

Следовательно, я полагаю, что историк вообще должен быть больше ориентирован на критику, чем на подтверждение или догматику. В этом отношении французский историк и философ истории М. де Сюрто предлагает образцовую модель. Де Сюрто доказывает, что современная западная историография построена на понятии излома или разрыва между прошлым и настоящим. Историк не имеет непосредственного доступа к опыту (или воспоминаниям) прошлого; существует «другая» история, которая остается вне его понимания. Де Сюрто также настаивает на существовании излома между историком и его настоящим. В своей блестящей работе он исследует сложности «историографической операции» – той, благодаря которой практикующие историки знают, что их работа гораздо больше имеет дело с обрывками сведений, прерывами и различиями, чем с непрерывностью и подобием<sup>35</sup>. В этом смысле история отлична от «памяти», которая и в опытном, и в коммеморативном аспектах способствует возникновению успокаивающей иллюзии общности и непрерывности между прошлым и настоящим.

Безусловно, может быть высказано некоторое возражение против того понимания истории, которое я здесь предлагаю. Когда я обнаружил первую версию этой главы в виде лекции, один чешский философ возразил, что существуют некоторые ситуации, например, когда складывается необходимость строить новое или молодое демократическое государство, в котором аффирмативный тип историописания не только допустим, но и необходим. Но я не убежден, что в долгосрочной перспективе подтверждающая роль будет для истории подходящей. Это, во-первых, узурпация роли традиции. Во-вторых, то, что существенно для традиции, слабо связано с историческим прошлым и несколько им не оправдано вообще. В годы моего раннего детства Канада, где я рос (это была абсолютно английская Канада, по сравнению с весьма относительно французской Канадой), отчасти основывала свое существование

---

<sup>35</sup> De Certeau, Michel. *The Historiographical Operation* / De Certeau. *The Writing of History* / trans. Tom Conley. New York, 1988. P. 56–113. На русском языке были опубликованы только некоторые фрагменты работы де Сюрто: *Письмо истории: Сотворение места* // Сегодня. 1996. № 165; *Искаженный голос* // Новое литературное обозрение. 1997, 28.

на основе традиционной связи с британской короной и с британской системой правительства. Ретроспективно мне кажется, что для этой традиции было ценно то, что многие вещи могли быть и нередко были заявлены в форме определенных принципов или утверждений (очень часто определяемых по контрасту с принципами Соединенных Штатов). Одно утверждение состояло в том, что парламентское правительство превосходит президентское; другое – в том, что индивидуальные права должны быть скорректированы на общее благо, выражающееся в формуле «мир, порядок и хорошее правительство», безусловно, более удовлетворительной, чем формула «жизнь, свобода и погоня за удачей».

Если мы рассмотрим традицию, о которой я говорю, как формулирующую некий набор явных и неявных требований, то она приобретает форму неопределенно заявленной политической теории. Это и была политическая теория, обернутая в одежды *очевидно* исторического нарратива. Этот британски-центрированный нарратив едва ли мог противостоять серьезной проверке на прочность, особенно учитывая этнический состав страны даже в то время, что и закончилось возникновением обратной реакции в форме сепаратистского движения в Квебеке. Но нарратив был, в конечном счете, необязателен. Что было действительно важно и что могло бы быть действительно разумно обсуждено, так это законность (или нет) выдвигаемых требований и принципов. Эти требования и принципы не были нарративами о прошлом. Скорее, они были руководящими принципами или структурами, предназначенными для организации настоящего и будущего.

Основа государства, конечно, не должна обнаруживаться в исторических нарративах. Проблема не только в том, что такие нарративы нарушают принцип «разделения», а именно, принцип того, что история, достойная своего названия, тщательно сепарирует прошлое и настоящее. Более важно то, что такие нарративы крайне непригодны для формирования базиса политических систем. Например, если реальное основание французской политики есть французская история, то она вполне может быть закончена исключением из настоящего и будущего тех людей Франции, кто не напоминает жителей Древней Галлии. В широком смысле такая тра-

диция могла бы рассматриваться как «культурная память». Но даже если бы это была истинная память, даже если было бы истинно то, что французское государство восходит по непрерывной линии от Галлии, это, возможно, станет интересным и удивительным фактом, но это не станет чем-то, на чем можно было бы сегодня законно основывать французское государство. И то же самое, безусловно, применимо ко *всем* попыткам обеспечить «историческое» оправдание существующему порядку. Или нарратив станет некорректной основой для формирования настоящего и будущего порядка, или он настолько выбьется из легитимного исторического содержания, что больше никогда не станет полноправным историческим нарративом вообще.

\*\*\*

Критическая историография должна находиться на некотором расстоянии от памяти во всех смыслах последней, и тем же образом она должна быть одновременно связана и отдалена от настоящего. Критическая историография не предназначена для настоящего. Она показывает только то, что было иным, удивительным и даже поразительным в прошлом. Если историописание утрачивает качество удивления, оно утрачивает академичность, так же как и свое научное оправдание. Такая история может повторно изобретать себя как память, или как коммеморация, или как традиция. Ни одна из них не плоха сама по себе, но ни одна из них не типична для историографического проекта. Наоборот, такой тип историописания может превратиться в зависимую от парадигм, от времени, неоригинальную, бесперспективную форму профессиональной историографии – во что-то, чего бояться, как чумы. Когда, в противоположность этому, история доносит до настоящего времени неизвестное прошлое, это заставляет людей увидеть, что горизонт настоящего еще не означает горизонт всего, что вообще существует. Коротко говоря, история нуждается в памяти, но не должна идти за памятью. Если у кого-то возникает желание писать историю, то нужно попытаться найти такие вещи, которые в их привычном понимании вызовут удивление. Если же историк остается в пределах структуры памяти, то наиболее вероятным результатом станет аффирмация, а не удивление.